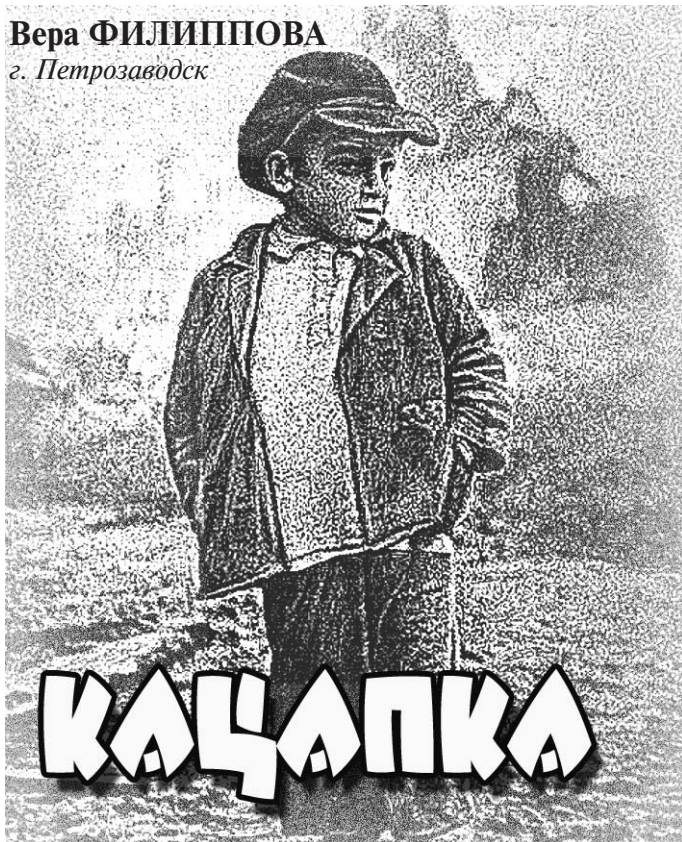


Вера ФИЛИПОВА

г. Петрозаводск



Дом, в котором мы поселились, стоял в саду. Вся улица была в садах, за которыми не видно домов, только калитки с надписями: на нашей «4, ар.3», на соседних «4, ар. 2», «4, ар. 1». От калиток вели дорожки к квартирам.

— Что обозначает «4, ар. 3»? — спросила я соседку тётю Любу.

— То, рыбонька, вид нимцив зосталося: 4 — це номэр дому, ап це «апартаменты», кварталы по нашому. Нимци ж на ций вулицы стоялы.

— А почему не сняли, когда немцев выгнали?

— Та-а... Ты бачиш, що город розбыт? Ото ж! — И у тёті Любы слезы так и потекли сами собой по щекам. — Що зробылы, що зробылы нэдолюдкы! — И она обняла меня. — Що б того нэ бачив ниhto николы.

В центре города действительно было страшно ходить, особенно вечером: почти все большие дома полуразрушены, выбиты стекла, и дома смотрели, будто пустыми глазницами. Некоторые кварталы обнесены заборами из колючей

проволами, за которыми ходили огромные крысы. Деревья свалены или наполовину обломаны. Везде на перекрёстках стояли милиционеры и указывали, куда ехать и где переходить улицу. А по окраинам остались целые улицы с уже покрашенными, побелёнными хатами и ухоженными садами. Но какой весь город, не понять, он не был целым. Даже наша улица была какая-то неровная: то сады, то пустырь с кучей разбитых кирпичей, то облезлые здания детского дома и школы, то стройка за колючим забором.

И было очень тоскливо на всё это смотреть, и почему-то тяжело дышалось, может быть, от жарких дней, очень тёмных и рано наступающих ночей. И ещё ходило много нищих и больных людей, которые днём просили еду, а ночью воровали в садах и огородах. Тётя Люба говорила, что им «нэмае чога йисты», что они несчастные или бездомные, а другие — сумасшедшие. Мама мне запретила говорить «сумасшедшие», потому что она врач, а врачи так не говорят. Мама говорила — «душевнобольные».

Один такой, очень вежливый, каждый день приходил к нам и обращался именно к маме: «Дайте мне покушать. Я кушать хочу». Ел не торопясь, не как голодные, и всё время благодарил маму: «Вы так добры. Вы не прогоняете. Благодарю Вас, благодарю Вас...» Рассказывал, что его все гонят и говорят: «Иди работать». «А я не могу, везде требуют какие-то темпы, а я не могу темпы. И рука изувечена. — У него действительно была перебита рука. — Я, видите ли, скрипач, и вот...»

Лёнька, сын тёті Любы, как завидит его у калитки, бежит докладывать маме:

— До Вас знову кацап божевильный, сумасшедший идэ!

— Лёня, — выговаривала ему мама, — нельзя так о большом человеке. Что это такое — «сумасшедший»? Он был в концлагере, где его, видимо, били по голове. От побоев, от голода и тяжёлых переживаний у него пропала память. Он же ничего о себе не может рассказать, ничего, что с ним было, не помнит! Не забыл только, что он скрипач! И вот вежливость каким-то чудом сохранилась! У тебя же, дорогой сосед, с

этим... — и осеклась, потому что «вежливый» уже стоял на пороге, а Лёньку отчитывать тоже было как-то не очень правильно и тоже по-своему жалко, о чём я узнала потом.

Лёнька терпеть меня не мог и всегда дразнил или пугал: «Дэ ты зараз живэш, було гэстапо, а отам, дә ты спыш, стояла лавка, на которий наших людэй пытагы до смэрты». Ночью я не могла спать, а утром побежала к тётё Любе.

— Это правда, что Лёнька сказал?

— Та бреше малый. Вин такого бачив, що... нэ слухай його, вин же трохы нэ вмер. Нэрвы у нього... Пугае, щоб йому нэ снылося. — И опять заплакала.

Тётя Люба может быстро заплакать и так же быстро перестать. Мама моя плачет редко, но уж если расплечется, то надолго и тяжело. О себе я уж и не говорю. Меня слёзы душат, а из тётки Любиных красивых карих глаз текут так, будто просто лишние накопились. Так же плачет её мама, баба Фрося.

— Как они странно плачут, — говорю маме.

— Это характеры, все украинцы такие: слёзы у них рядом. Но они обе с Ефросиньей Петровной добрые. Да и пострадали в оккупации. Есть что помнить и о чём плакать. Ты не спрашивай их зря, если сами не рассказывают.

— А дядя Трофим, который нам молоко привозит, хвалил немцев. Говорил так уважительно: «О то булы паны!» Он предатель?

— Он тебе это говорил?

— Нет, я слышала, как он у нашей калитки с каким-то дядькой разговаривал.

— Завтра же откажу ему. У кого-нибудь другого будем покупать молоко. Вот только как Любочке сказать? Она же знает, что мы у него покупаем.

Я всё-таки сама решилась спросить тётю Любу, так меня распирал страх от того, что дядька Трофим сказал.

— Дядя Трофим предатель?

— Та й нэ сумниваюся, що вин запродаець. От тильки доказив нэ маю. А ты, мое сэрдэнько, ма-ла ще та й нэ бачила ничего, — вздохнула тётя Люба и, удивительно — не заплакала.

Я не знала, что сказать, и мы просто так сидели и молчали.

— Чи зробылы б такэ нимци, колы нэ допомога полицаив та запродаецив! Трохым був помиж отых звирюг. — Опять я удивилась, что

она не плачет, хотя ей, наверное, было очень тяжело это всё переживать и рассказывать. И кому? Мне! Кто я ей?

Я уже жалела, что сунулась в этот такой взрослый разговор, и не знала, что мне теперь делать. Ведь предупреждала мама не спрашивать, если сами не рассказывают. Но тётя Люба притянула меня к себе, обняла и опять заговорила:

— Ну, бижи, грай та радуись. Яка тоби ще пэчаль? Чого мы бачылы та выстраждали, того, ды-тынка, нэ може та й нэ трэба йому.

— А мы больше не будем у дядьки Трофима покупать молоко.

— Та й добрэ. Хай вин подавытс я отим молоком. Я знайду вам та прывэду чесного продавця.

Тётя Люба взъерошила, а потом пригласила мои волосы, поцеловала в щеку, и мы так хорошо и легко закончили тяжёлый для меня разговор.

Но что-то не игралось и не радовалось. Мама говорила, что тётя Люба с Лёнькой не умеет разговаривать. А вот со мной так умеет. И я подумала, что не надо никому рассказывать про наш разговор, даже маме. Не знаю даже, почему. Но нельзя — и всё. Не то чтобы секрет, но... всё-таки нельзя пересказывать. Тётя Люба говорила со мной как со взрослой и так серьёзно. Наверное, поверила мне, что это только между нами, что я не «запроданець». Я заранее знаю, что и она ничего не скажет маме, а просто приведёт к нам честного человека, у которого сама покупает молоко. И ещё я поняла, что с некоторыми злодеями, как дядька Трофим, ничего нельзя поделаться. Но хоть не знаться с ними и в дом к себе не пускать.

Оказывается, я не знаю тётю Любу. «Характеры», — сказала мама. А какие характеры? То слёзы близко, а то вот глаза сухие, губы поджаты, и стала тётя Люба совсем на себя не похожа. Одно-го не могу всё-таки понять: как это нет у тётки Любы доказательств? С одной стороны, она и не сомневается, а с другой — «доказив» не имеет? Она одна, что ли, знает про дядьку Трофима? Больше никто его не знает как предателя? Так почему и она не свидетель, и другие не свидетели? Я вообще не понимаю тётю Любу.

И всех взрослых плохо понимаю, даже маму. Вдруг сцепит пальцы, уставится в одну точку и молчит. А то ещё начнёт ходить по комнате из угла в угол или вдруг как-то заломит руки и просто-

нет: «Господи! Да что ж это такое?!» И меня будто не замечает. Я её такую просто боюсь. Ухожу бродить по саду.

Дворы между домами разделялись не заборами, а садами, но все ребята знали, до каких яблонь чья территория, и не вздумай никто её нарушить. Все жили и играли вокруг своих домов и кого угодно к себе не подпускали. Однажды я нарушила не известную мне границу и сразу была окружена: «Чого тобі трэба?» — «Ничего». — «А ну гэть звидсиля!» — «Куда?» — «Звиткиля прыйшла! Гэть, тобі казаль!»

В нашем доме жил ещё Севка, который дружил с мальчишками из соседнего дома. Рядом оставался вреднючий Лёнька. Приходили во двор девочки из детского дома с нашей улицы, которых жалела и подкармливала борщом, угощала вишнями и яблоками тётя Люба. «Воны ж сыротки, бидны та худы... А батьки на войны згинулы, матэри вмэри, кого нимци вбылы. Як же за них болыть сэцэ!» Иногда тётя Люба посылала Лёньку угощать девонок яблоками. Он сначала выдавал каждой по яблоку, а потом, если я оказывалась поблизости, подходил ко мне и подносил к самому носу фигу, приговаривая: «Ось тобі дулю, кацапка». И я даже не обижалась, а только удивлялась: какой дурак!

Наши соседи говорили с нами на какой-то смеси украинского языка с русским, а все девочки разговаривали меж собой так, что мне их было не понять. Дразнили меня кацапкой, им не нравился мой русский «г». Только покажусь на крыльце, уже слышу: «гакают» для меня по-своему: «Гришка, гад, гоны грэбинку, гнды-гады голову грызуть!» Лёнька их поддерживает: «Прыйшов хохол, наклав на пол; прыйшов кацап — зубамы цап!» Я молчала, мне нечем было их дразнить. И хотя я быстро заговорила на украинском, какой слышала, кацапка кацапкой и осталась. И всё-то во мне было не так.

— Що це такэ? — дёрнула меня за юбку девчонка.

— Юбочка.

— Тю! Юбочка! Якась юбочка! Хиба ж це юбочка? Це ж спидныця!

И тут же моя юбочка была измазана грязью и заплёвана. Я разревелась.

— Що такэ зробылося? — выбежала на крик тётя Люба.

— Они мою юбку... Говорят: «Хиба ж це юбочка!»

— Тю-у! — пропела тётя Люба. — Шо вони, гапки, розумиють в отой юбочки?! Та мы ж оту юбочку постыраемо та видглядимо. И пийдеш мымо отых дурней: ось яка я гарна дивчина!

И вот я на своём крыльце уже в чистой юбочке сержусь на тётю Любу, которая уселась под яблоней, наплела веночков и надела их на головы этим «гапкам». Они водят перед нею хоровод, а она хлопает в ладоши и звонко поёт: «Ой, лопнув обруч коло дижечки. Дивчатка мои, сыроижечки!..»

Ну вот: то они «гапки» и «дурни», а я «гарна дивчина», а то все «сыроижечки», всех одинаково любит тётя Люба. Я не знаю теперь, как к ней относиться, она меня предала. Когда она с ними играет, меня не зовёт, потому что всё равно не примут. Я чужая. И в тёти Любиных утешениях не всё сходится: зачем мне хвастаться перед девочками, если они сиротки, и почему она не велела им извиниться и не помирила нас? Всех жалует тётя Люба, и правых, и виноватых. Я не знаю, как здесь жить. Знаю теперь только, что юбка по-украински называется «спидныця».

Вечером тётя Люба позвала нас с мамой к себе на веранду пробовать яблоки, которые она только что сняла, какой-то уж очень хороший сорт. «Белый налив!» — обрадовалась мама. — Как я люблю «белый налив!» Откуда она знает про «белый налив»? Я так вообще, пока мы сюда не приехали, не видела настоящих яблок и не ела никакой «белый налив». Мы сидим за столом, мама нарезала мне ломтиками яблоко, баба Фрося погладила меня по голове и сказала: «Кушай яблучко, воно добрэ». Рядом сидел Лёнька и под разговоры взрослых шептал мне: «Яблучки трэба ризаты та сушиты, щоб зымою булы компоты, а ты трискаеш чуже яблучко. Воно зросло нэ на вашой яблони. Ваши отам, за дорижкою, вони тилькы в зыму поспиють». Я тут же подавилась кусочком яблока и убежала плакать в сад, к калитке, откуда меня не видно.

Мне так плохо здесь живётся. И не хочу я этот сад с яблонями и вишнями. Я хочу домой, где во дворе растут берёзы и сирень, а в огороде малина и смородина. И персики здешние мне не нравятся, и угощают ими, будто от сердца отрывают. Ещё говорят, что здесь голод, неуро-

жай, мало хлеба, и если бы не американские консервы... Они невкусные, а голод... так он везде голод. Дома тоже был голод. Но таких борщей, как здесь, у нас не варили... И так жарко! А когда жарко, мне и есть не хочется. Обгорели нос, плечи и руки. Меня всё время Ефросинья Петровна смазывает простоквашей, а потом, когда уже не болит, с меня слезает кожа, «шкурка», как говорит баба Фрося.

У калитки меня нашла тётя Люба.

— Ах, ты ж, мое сэрдэнько! Чому тоби всё нэ-добрэ? Всё нэ подобаеця? Що ж це такэ? — И гладила меня, вытирала мои слезы.

Однажды я бежала от преследовавших меня Лёньки и соседских ребят, запнулась и растянулась на дорожке, ободрав коленки и руки. Мои ссадины промывали и мазали йодом мама и тётя Люба.

— Голубонька моя, будь ласка, взыть дивчатко звидсися до ридного дому. Воно ж страдае, воно ж горюе, — говорила, как пела, тётя Люба, и глаза её уже были полны слёз. Вот только кого я никогда не видела плачущим, так это Лёньку, он всегда был злой, и глаза у него были злые.

— Да, конечно, — кивала ей мама. — Не климат нам здесь.

— Нэ гнивыгыся на мэна. Я ж розумию.

В саду завёлся хорёк и уничтожил всех соседских цыплят. За ним началась охота. Лёнька увидел его под крыльцом. И все ребята по очереди туда заглянули. Я видела только два злющих блестящих глаза, ну точно как у Лёньки. Он нашёл где-то обломок железной трубы и стал стучать по ступеньке, чтобы выгнать хорька.

— Такие глазищи страшные! — успела я сказать.

— А тэбэ, кацапка, ништо нэ звав! — и замахнул на меня трубой.

Сначала я почувствовала только удар по голове, и тут же всё лицо залила кровь. В страхе я закричала так, что все разбежались и стали звать кого можно.

Мама бегом несла меня домой, рядом бежала тётя Люба и причитала: «Ой, лыхо мэни!..» Потом я лежала с забинтованной головой, очень ослабевшая. Возле меня сидели мама и баба Фрося.

— Леньке дуже пэрэпало. Люба об його вицу зломала, — утешала меня Ефросинья Петровна. Я не поверила, его не только вицей, его пальцем никто не трогал. Тётя Люба жалела Лёньку до

горючих слёз, его баловали и всё ему разрешали.

Мама потом рассказывала мне, что Лёнька им не родной сын. Его отца и мать расстреляли фашисты на глазах у Лёньки. И его полицей хотел пристрелить, но тётя Люба повисла на автомате, сорвала с себя серьги и кольца, отдала их убийце и на коленях упростила отдать ей ребёнка. А Лёнька больной, у него воспаление мочевого пузыря и недержание мочи. Это все знали, потому что его матрас каждый день висел на перилах веранды, и тётя Люба всё время стирала простыни и одеяло. Лёнька ходил с мокрыми штанами.

Однажды, когда он меня уж совсем затравил, я сказала маме, что буду его дразнить мокроштаным. Но она крикнула на меня: «Не смей! Больного ребёнка! Не смей!» И ещё шлёпнула для убедительности, это уж было лишнее. Я его не только никогда не дразнила, но даже делала вид, что и не замечаю его постоянно мокрых штанов и постели, красующейся во дворе.

Мама сразу заподозрила неладное, не поверила тёте Любе, которая говорила: «То ничего, то бувае, а описля мабуть пройдэ». Мама настаивала на срочном лечении. К врачу с тётей Любой Лёнька ни за что не хотел ехать. Тогда мама сказала, что она сама врач, и он ей поверил. Кацапкой была я, маму мою он так никогда не называл. С мамой он говорил как человек, но почему-то все их мирные разговоры не заканчивались для меня добром. Забывал он их, что ли?

— А я, Лёня, ведь тоже «кацапка». Но меня ты не дразнишь. Или всё-таки дразнишь за глаза?

— Ни-и, то брэхня. Вы нэ кацапка.

— Да я же говорю только по-русски и украинского языка совсем не знаю и не заговорю на нём, наверное, никогда.

— Ни-и, — повторяет Лёнька, — нэ кацапка. Вы доброзывчива до всех. Вы кацапа божевильного жалиетэ. Все выгоняють, а Вы жалиетэ. Вин же головой хворый, його ж мучили...

— Он теперь в больнице. Его там кормят, ухаживают за ним, лечат. Может быть, восстановят память. Узнать бы, откуда он, как здесь оказался. Может, его родственники ждут и разыскивают, а он имени своего не помнит. Он, Лёня, не кацап, он русский, как вот и мы. А вы — украинцы. Тебя хохлом дразнили?

— Ни-и.

— А ты зачем кацапами дразнишь русских? Чем

ты их лучше? Ну да, ты же свой, у себя дома. А мы оказались чужими.

— Ни-и,— заладил Лёнька.

Мама стала возить Лёньку в поликлинику и знала всё про его болезнь. Он ничего от неё не скрывал и рассказывал, где у него и как болит.

После каждой поездки с Лёнькой мама была озабоченная и сердилась на тётю Любу:

— Любить-то она его любит и жалеет. И не дай бог, если с ним что случится. Но разговаривать с ним всё-таки не умеет. Они его хоть и заласкали, и избаловали, а он их дичится. Ребёнок такую боль терпит, а они только и знают: «мабуть, мабуть...», «лишенько такэ зробылось!» ворчала мама, передразнивая тётю Любу.

Вот теперь что она скажет, когда я была вся в крови и лежу теперь с перевязанной головой? Кого ей жалче? Кто бедный ребёнок, который терпит боль?!

— Неужели Лёньку драли вицей? — спрашиваю, когда мы с мамой остались одни.

— Ну что ты?! Поохали, поохали — вот и всё. Сотрясения мозга, чего я боялась, у тебя, слава Богу, нет. Как говорится, и на том спасибо... — Мама вздохнула, закрыла руками лицо и помолчала. — Но он сильно напугался от вида крови и лежит сейчас. Врача к нему вызывали. Он тебе швы наложил, а потом Лёньку смотрел. У мальчишки ведь почки совсем не работают.

— Умрёт?

— Если не лечить, долго не проживёт. И злой он, потому что болен. Совсем плохи дела у Лёньки.

— Мам! Давай уедем. Плохо здесь...

— Уедем. Климат здешний нам с тобой не подходит. Вот скоро и уедем.

— А правда, что в этом доме немцы жили? Лёнька говорил, тут пытали...

— Жили, говорят. А Лёньку война до сих пор пытается. Она долго не проходит. Вот Лёнька и воюет, сам не знает с кем. Кацапка так кацапка, ему всё равно, на ком злость срывать. Его и жалеют, и берегут, как могут, а он волчком смотрит. Помнит ведь родных маму и папу. Память ему не отшибло. Да и распушенный, конечно, мальчишка... А вот с почками плохо. Он никого больше не будет дразнить и травить. Сам испугался, плакал и обещал. Завтра его в больницу положат. Надо ребёнка лечить.

...Лёнька лежит в больнице. Мы собираемся уезжать, уже сложили вещи. Небо чёрное-чёрное, а звёзды яркие-яркие. Мы сидим с мамой и с тётей Любой на нашем крыльце. Мама говорит, что ночь тёплая, «как парное молоко». Я чувствую с одной стороны мамин тёплый бок, а с другой — тётю Любу. Мне сегодня уже сняли швы и заклеили лоб марлевой салфеткой. Тётя Люба взяла мою ладошку в свои мягкие (мама говорит, что они красивые) руки и тихонько напевает:

Ви-и-ють витры, ви-и-ють буйны,

А-аж дерева гну-у-тсья.

О-о, як больть сэрце мое,

А-а слёзы нэ лью-у-тсья.

□

Вера Алексеевна ФИЛИППОВА

родилась в Вологде,

живет в Петрозаводске.

Окончила филологический факультет Уральского университета.

Кандидат педагогических наук, доцент на кафедре философии

Петрозаводского государственного университета.

